



Альфонс Доде

Тартарен на Альпах



Перевод с французского
Николая Любимова

ФТМ



Тартарен из Тараскона

Альфонс Доде

Тартарен на Альпах

«ФТМ»

1885

Доде А.

Тартарен на Альпах / А. Доде — «ФТМ»,
1885 — (Тартарен из Тараскона)

«... Написал Доде вторую часть „Тартарена“ лишь в 1885 году, за несколько летних и осенних месяцев. Работал он над ней главным образом в курортном местечке Ламалу, куда ему приходилось теперь ездить ежегодно. В конце года книга вышла в издательстве Леви, а в 1886 году – в издательстве Фламмариона и имела огромный успех. Любопытно отметить, что описания восхождения были настолько убедительными, что автора приняли за заправского альпиниста: Французский альпийский клуб избрал его своим почетным членом, а знаменитый английский альпинист лорд Вимпер прислал ему свою книгу с автографом....»

© Доде А., 1885

© ФТМ, 1885

Содержание

I	5
II	16
III	27
IV	36
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Альфонс Доде Тартарен на Альпах

I

Появление незнакомца в «Риги-кульм». Кто он? Что говорилось за столом, накрытым на шестьсот персон. Рис и чернослив. Импровизированный бал. Незнакомец расписывается в книге для приезжающих. П.К.А.

Десятого августа 1880 года, в час сказочно прекрасного заката на Альпах, прославленного путеводителями Жоанна и Бедекера, непроницаемый желтый туман и хлопья снега в виде белых спиралей заволакивали вершину Риги (*Regina montium*)¹ и громадный отель, крайне необычно выглядевший среди этих диких горных хребтов: то был знаменитый «Риги-Кульм», сверкавший стеклами окон, словно обсерватория, построенный не менее прочно, чем крепость, – отель, куда на одни сутки толпами стекаются туристы, чтобы полюбоваться восходом и заходом солнца.

В ожидании второго звонка к обеду постояльцы этого необъятного роскошного караван-сарая сучали наверху, в своих номерах, или, пригретые влажным теплом калориферов, развалившись на диванах в читальном зале, уныло смотрели, как вместо обещанного дивного зрелища в воздухе кружатся белые мухи и как зажигаются у подъезда огромные фонари, поскрипывая на ветру двойными дверцами.

Стоило для этого тащиться такую даль, взбираться на такую крутизну... Эх, Бедекер!..

Вдруг что-то выплыло из тумана и, лязгая железом и производя нелепые телодвижения, вызывавшиеся обилием каких-то необыкновенных приспособлений, направилось к отелю.

Скучающие туристы, все эти английские *мисс*, забавно подстриженные «под мальчика», прильнули к стеклам и, шагах в двадцати различив сквозь метель некую фигуру, приняли ее сперва за отбившуюся от стада корову, потом за обвешанного инструментами лудильщика.

Шагах в десяти фигура вновь изменила обличье: за плечами у нее вырос арбалет, а на голове шлем с опущенным забралом, но чтобы среди горных высей возник средневековый лучник – это показалось еще менее вероятным, чем появление коровы или лудильщика.

Когда же владелец арбалета остановился на крыльце отдышаться и стряхнуть снег с желтых суконных наколенников, с такой же фуражки и вязаного шлема, из-под которого торчали лишь клочья темной с проседью бороды да огромные зеленые очки, похожие на стереоскоп, то оказалось, что это самый обыкновенный человек, толстый, коренастый, приземистый. Ледоруб, альпеншток, мешок за спиной, связка веревок через плечо, «кошки» и стальные крючья у пояса, стягивавшего английскую куртку с широкими язычками, дополнили снаряжение этого безукоризненного альпиниста.

На пустынных высях Монблана или Финстерааргорна такая оснастка показалась бы естественной, но в «Риги-Кульм», в двух шагах от железной дороги!..

¹ Царицу гор (лат.).

Впрочем, альпинист шел с противоположной стороны, и вид его наколенников свидетельствовал о долгом переходе по снегу и грязи.

Недоуменным взглядом окинул он отель и все его пристройки, – по-видимому, он никак не ожидал встретить на высоте двух тысяч метров над уровнем моря столь внушительное здание, семиэтажное, многооконное, со стеклянными галереями, с колоннадами, с широким крыльцом, освещенным двумя рядами фонарей, придававших этой горной вершине сходство с площадью Оперы в зимние сумерки.

Но как ни был удивлен пришелец, а постояльцы отеля были еще больше удивлены, и едва он вошел в просторную прихожую, толпа любопытных повалила туда из всех зал: мужчины с бильярдными киями и развернутыми газетными листами, дамы с книгами или рукодельем; на верхней площадке лестницы тоже показались люди и, перегнувшись через перила, уставились на него.

Пришелец заговорил громоподобным голосом, таким «южным басиной», звучащим, как цимбалы:

– Разэтакый такой! Ну и погодка!..

Внезапно смолкнув, он снял очки и фуражку.

У него захватило дух.



Слепящие огни, тепло, исходившее от газовых рожков и калориферов, после мрака и холода снаружи, затем эта пышная обстановка: высокие потолки, привратники в галунах и в адмиральских фуражках, на которых золотыми буквами было написано *Regina montium*, белые галстуки метрдотелей, целый батальон сбежавшихся по звонку швейцарок в национальных костюмах, – все это огорошило его, впрочем, только на одну секунду.

Заметив, что все на него смотрят, он приосанился, как артист перед битком набитым зрительным залом.

– Чем могу служить?.. – процедил сквозь зубы шикарный директор в полосатой визитке, с холеными бакенами, завитой на манер дамского портного.

Альпинист, нимало не смутившись, спросил себе номер, «маленький удобный номерок», спросил так непринужденно, будто перед ним стоял не величественный директор, а старый школьный товарищ.

Он даже чуть было не вспылil, когда к нему подошла горничная, уроженка Берна, с подсвечником в руке, в плотно обтягивавшем ее золотом корсаже, с пышными тюлевыми рукавами, и спросила, не угодно ли ему подняться на лифте. Он был бы не менее возмущен, если б ему предложили совершить преступление.

– Чтобы я... чтобы я... на лифте!.. – И от его крика, от его жеста пришли в движение все его доспехи.

Внезапно смягчившись, он сказал швейцарке:

– Нет, я по образу пешего хождения, моя кошечка...

И пошел вслед за ней, глядя в упор на ее широкую спину и всех по дороге расталкивая, меж тем как по отелю пробегала одна и та же скороговорка: «Это еще что такое?» – повторявшаяся на всех языках земного шара. Но тут раздался второй звонок к обеду, и о необыкновенном человеке тотчас же все позабыли.

Столовая в «Риги-Кульм» – зрелище воистину потрясающее.

На шестьсот персон накрыт был огромный, в виде подковы, стол, на котором длинными рядами, вперемежку с живыми растениями, стояли блюда, полные рису и черносливу, и в их светлом и темном отваре отражались неподвижные огоньки люстр и позолота лепного потолка.

Как за всеми швейцарскими табльдотами, рис и чернослив делили здесь обедавших на два враждебных лагеря, и по одному тому, какой взгляд бросали вы заранее на то или иное десертное блюдо, взгляд, исполненный ненависти или вожеления, – можно было сразу определить, к какой партии вы принадлежите. Рисолубы отличались худобой и бледностью, черносливцы – полнокровием.

В тот вечер черносливцев оказалось, во-первых, больше, а во-вторых, к ним примкнули наиболее важные особы, европейские знаменитости, как, например, выдающийся историк, член Французской академии Астье-Рею, старый австро-венгерский дипломат барон фон Штольц, лорд Чипндейл (?), член Джокей-клуба со своей племянницей (гм! гм!), знаменитый профессор Боннского университета Шванталер и перуанский генерал с восемью дочерьми.



Между тем рисолюбы могли им противопоставить лишь таких светил, как бельгийский сенатор с семейством, супруга профессора Шванталера и возвращавшийся из России итальянский тенор, щеголявший своими запонками величиною с чайное блюдечко. Неловкость и натянутость, которые чувствовались за столом, по всей вероятности вызывались именно тем, что здесь столкнулись два противоположных течения. Иначе как же объяснить, что все эти шестьсот персон, надутые, хмурые, подозрительные, хранили упорное молчание и смотрели друг на друга с величайшим презрением? Поверхностный наблюдатель приписал бы это нелепой англосаксонской чванливости, которая в мире путешественников всюду задает теперь тон.

Нет, нет! Существа, еще не потерявшие образа человеческого, не возненавидят друг друга с первого взгляда, не станут только из-за того, что они незнакомы, задира́ть нос, кривить рот и смотреть свысока друг на друга. Тут кроется нечто иное.

Я вам уже сказал: рис и чернослив. Вот причина мрачного молчания, повисшего над обеденным столом в «Риги-Кульм», а между тем, принимая во внимание многочисленность

разноплеменных гостей, обед мог бы здесь пройти так же шумно и оживленно, как если бы он был устроен у подножия Вавилонской башни.

Когда альпинист вошел, вид залитой светом люстр трапезы молчальников привел его в некоторое замешательство; он громко откашлялся, но на него никто не обратил внимания, — тогда он сел с краю стола, в самом конце залы. Без доспехов, это был теперь обыкновенный турист, но в самой внешности этого человека, плешивого, с брюшком, с остроконечной густой бородкой, с величественным носом и добрыми глазами, глядевшими из-под пушистых сердитых ресниц, было что-то особенно привлекательное.

Кто же он: рисолюб или черносливец? Это пока еще представляло загадку.

Только успев сесть, он беспокойно заерзал на стуле, потом испуганно вскочил.

— А чтоб его!.. Сквозняк!.. — воскликнул он и устремился к свободному стулу в середине залы, прислоненному спинкой к столу.

Служанка, родом из кантона Ури, в белом переднике, увешанном серебряными цепочками, остановила его:

— Это место занято, сударь...

Но тут сидевшая рядом девушка, у которой видна была только шапка светлых волос над белоснежной шеей, сказала, не оборачиваясь, с сильным акцентом:

— Нет, оно свободно... Мой брат болен и сегодня не выйдет к столу.

— Болен? Болен? — участливо, почти встревоженно спросил альпинист, садясь за стол. — Надеюсь, не опасно, а?

Он произнес — «э». Эту частицу он вставлял во все свои фразы вместе со словами-паразитами, вроде: «Что, ну что, а ну, а да ну, ух ты, ишь ты, гляньте-ка, э-эх, все-таки», которые еще резче подчеркивали его южное произношение, а юной блондинке оно, по-видимому, не нравилось, потому что она, ничего ему не ответив, окинула его ледяным взглядом бездонно глубоких темно-синих глаз.



Сосед справа тоже не очень к себе располагал; это был итальянский тенор, ражий детина с низким лбом, масляными глазками и воинственными усами, которые он начал сердито покручивать, как только его разъединили с хорошенькой соседкой. Но добрый наш альпинист любил поговорить за едой, он считал, что это полезно для здоровья.

– Ишь ты! Какие красивые запонки!.. – вслух заговорил он сам с собой, поглядывая на манжеты итальянца. – На яшме вырезаны ноты – *прррэлэстно!*..

Его голос, в котором слышался металл, рокотал в полной тишине и не будил ни малейшего отзвука.

– Вы, наверно, певец? *Чтэ?*

– *Non capisco...*² – пробурчал себе под нос итальянец.

Альпинист с сокрушенным сердцем начал есть молча, но куски застревали у него в горле. Наконец, как только сидевший против него австро-венгерский дипломат потянулся дрожащей от старости сухонькой ручкой, которую обтягивала митенка, к горчицнице, он предупредительно подвинул ее.

– Пожалуйста, барон...

Он слышал, что все именно так обращались к дипломату. Но вот горе: бедный фон Штольц, несмотря на то, что он производил впечатление человека хитроумного, искусного в дипломатических тонкостях, давным-давно растерял все слова и мысли и теперь путешествовал в горах для того, чтобы вновь обрести их. Он поднял свой безжизненный взор, остановил его на незнакомом лице, затем молча опустил. Нужно было, по крайней мере, десять старых дипломатов с такими же умственными способностями, как у него, чтобы совместными усилиями составить формулу самой обыкновенной благодарности.

При этой новой неудаче лицо альпиниста приняло свирепое выражение, и по той стремительности, с какой он схватил бутылку, можно было подумать, что он сейчас запустит ею в старого дипломата и проломит ему немудрую голову. Ничуть не бывало! Он просто-напросто решил предложить вина своей соседке, но она была поглощена беседой вполголоса с двумя молодыми людьми, сидевшими рядом с ней, поглощена приятным для слуха, оживленным щебетом на каком-то непонятном языке и не слыхала, что он к ней обратился. Она беспрестанно наклонялась к своим собеседникам. Над ее маленьким прозрачным розовым ушком блестели при свете люстр завитки светлых волос... Кто она: полька, русская, норвежка?.. Во всяком случае, северянка. Тут южанин невольно вспомнил песенку своего родного края и преспокойно стал ее напевать:

Севера звезда, графиня!
Вижу я: вас нынче вновь
Серебром осыпал иней,
Чистым золотом – Любовь.

Все обернулись: уж не сошел ли он с ума? Южанин покраснел и молча уткнулся в свою тарелку, но потом все же встрепенулся – только для того, чтобы оттолкнуть поданное ему сладкое блюдо.

– Опять чернослив!.. Да ни за что на свете!

Это было уже слишком.

Все задвигали стульями. Академик, лорд Чипндейл (?), боннский профессор и другие важные персоны из партии черносливцев встали и в знак протеста покинули зал.

Рисолюбы почти тотчас же последовали за ними, так как и другие десертные блюда были отвергнуты альпинистом не менее решительно.

² Не понимаю (*итал.*).

Ни рис, ни чернослив!.. Но тогда что же?..



Все направились к выходу, и было что-то леденящее в этом молчаливом шествии поднятых носов и надменно поджатых губ мимо несчастного альпиниста, – подавленный всеобщим презрением, он остался один в огромной, ярко освещенной зале как раз в ту минуту, когда, накрошив хлеба, он собирался приготовить себе блюдо, которое так любят на юге!

Друзья мои, не презирайте никого! Презрение – это козырь в руках выскочек, позеров, уродов и глупцов, личина, за которой прячется ничтожество, а иногда и низость, и которая прикрывает отсутствие ума, собственного мнения и доброты. Все горбуны исполнены презрения, все курносые морщат и задирают свой нос при виде носа прямого.

Добрый альпинист это знал. Ему было уже за сорок, он уже переступил через «роковой сороковой», он находился в той поре, когда человек подбирает и находит волшебный ключ, отмыкающий потайные двери жизни, за которыми открывается однообразная обманчивая анфилада; он отлично знал цену жизни, сознавал всю важность своего назначения, понимал, к чему обязывает его громкое имя, а потому его нимало не беспокоило, что о нем думают эти господа. Ведь ему стоит только назвать себя, крикнуть: «Это я!..» – и все эти надменно выпяченные нижние губы тотчас расплывутся в почтительной улыбке. Но инкогнито его забавляло.

Он страдал лишь оттого, что не мог разговаривать, шуметь, откровенничать, отводить душу, пожимать руки, фамильярно похлопывать по плечу, называть собеседников уменьшительными именами. Вот что угнетало его в «Риги-Кульм».

Особенно он страдал оттого, что не мог разговаривать!

«Этак и типун на языке вскочит...» – рассуждал сам с собой бедняга, слоняясь по отелю и не зная, чем заняться.

Он зашел в кафе, обширное и пустое, как собор в будни, подозвал официанта, назвал его «мой милый друг» и заказал «кофе, но только без сахара. *Чтэ?*». И хотя официант не спросил его: «А почему без сахара?» – альпинист поспешил добавить: «Эта привычка осталась у меня от того времени, когда я охотился в Алжире».

Ему не терпелось рассказать о своей замечательной охоте, но официант, неслышно, как привидение, ступая в своих мягких туфлях, полетел к лорду Чипндейлу, – тот, развалясь на диване, каркал: «Чимпэньского!.. Чимпэньского!» Выстрелила пробка, а затем в наступившей тишине было слышно лишь, как воет ветер в трубе монументального камина да прерывисто шуршит снег, ударяясь о стекла окон.

Читальный зал тоже наводил тоску: у всех в руках газеты, сотни голов склонились под рефлекторами над длинными зелеными столами. Время от времени слышится зевок, покашливание, шелест переворачиваемых листов, и, возвышаясь над тишиной этой классной комнаты, спиной к печке стоят неподвижно два жреца официальной истории, Шванталер и Астье-Рею, оба величественные, оба одинаково пропахшие плесенью, по прихоти судьбы встретившиеся на вершине Риги после того, как они тридцать лет подряд ругательски ругали друг друга и в объяснительных записках выражались не иначе, как «Круглый дурак Шванталер... *Vir ineptissimus*³ Астье-Рею...»

Можно себе представить, какой прием оказали они общительному альпинисту, когда он подсел к ним потолковать у огонька и понабрататься от них ума-разума! От этих кариатид на него тотчас повеяло холодом, а он этого так не любил! Он встал и зашагал по залу – не только для того, чтобы замять неловкость, но и для того, чтобы согреться, – затем открыл библиотечный шкаф. Там валялось несколько английских романов вперемежку с толстыми Библиями и разрозненными томами «Записок Швейцарского клуба альпинистов». Он достал одну книгу и хотел было взять ее с собой, почитать перед сном, но вынужден был водворить на место, так как уносить книги из читального зала в номера не разрешалось.

Он опять начал бродить и наконец приотворил двери бильярдной, – там гонял шары итальянский тенор, играя торсом и манжетами, чтобы привлечь внимание своей хорошенькой соседки по табльдоту, сидевшей на диване между двумя молодыми людьми и читавшей им какое-то письмо. При появлении альпиниста она прервала чтение, а один из молодых людей, тот, что был выше ростом, поднялся с места, – это был настоящий мужепес с волосатыми ручищами, с грязными черными патлами и нечесаной бородой. Он сделал два шага навстречу вошедшему и посмотрел на него вызывающим и до того свирепым взглядом, что добрый альпинист, не потребовав никаких объяснений, благоразумно и с достоинством сделал пол-оборота направо.

– Неприветливый все-таки народ эти северяне!.. – сказал он громко и, чтобы показать дикарю, что он его не боится, хлопнул дверью.

Последним прибежищем оставался салон. Альпинист туда вошел – ах, пропади он пропадом, этот салон!.. Ну и мрачно же было там, если б вы только знали! Мрачно, как в Сен-Бернардском монастыре, где монахи выставляют напоказ замерзших, которых они выкопали из-под снега, – выставляют в самых разнообразных положениях, в каких те зачленели. Вот что такое салон в «Риги-Кульм».

Дамы, все до одной застывшие, молчаливые, сидели группами на диванах, расставленных вдоль стен, некоторые поодиночке раскинулись в креслах. Мисс, все до одной, сидели, точно скованные холодом, за круглыми столиками, у ламп, и держали в руках кто альбом, кто журнал, кто вышиванье. Среди них находились генеральские дочки – восемь маленьких перуанок, бросавшихся в глаза шафранным цветом лица, подвижностью черт и тем контрастом, какой составляли их яркие ленты с серо-зелеными тонами английских платьев, эти бедные «жаркостранки», которых так легко было себе представить гримасничающими, прыгающими по верхушкам кокосовых пальм и которые еще в большей степени, чем другие жертвы, вызвали чувство жалости своей вынужденной немотой и зачленелостью. А в глубине салона, у фортепьяно, виднелся злобный силуэт старого дипломата – его маленькие безжизненные руки в митенках лежали на клавиатуре, бросавшей на его лицо желтоватый отсвет...

Силы и память изменили бедному фон Штольцу, и он безнадежно запутался в польке собственного сочинения: он проигрывал несколько тактов, но, забыв код, всякий раз начинал сызнова и в конце концов, играя, уснул, а за ним, потряхивая причудливо взбитыми

³ Болван (лат.).

локонами или чепцами, отделанными кружевом, похожим на корочку от слоеного пирога, – чепцами, которые так любят англичанки и которые в мире путешественников являются признаком хорошего тона, – стали погружаться в сон и все дамы.

Появление альпиниста не пробудило их, и он сам, проникшись всей этой ледящей душу атмосферой уныния, рухнул на диван, но тут вдруг в прихожей весело и громко заиграла музыка: три бродячих музыканта, из тех, что обходят все швейцарские отели, из тех, что носят длинные, до колен, сюртуки и у которых такие жалобные лица, явились с арфой, флейтой и скрипкой в «Риги-Кульм».

При первых же звуках музыки альпинист так и подпрыгнул.

– Ух ты! Браво!.. Музыку сюда!

И скорей бежать, скорей все двери настежь, скорей угощать музыкантов, поить их шампанским, и сам он при этом хмелеет, но не от вина, а от музыки. Он подражает флейте, подражает арфе, прищелкивает у себя над головой пальцами, вращает глазами, приплясывает, к великому изумлению туристов, со всех концов сбежавшихся на шум. И вдруг наш альпинист, завидев в дверях жену профессора Шванталера, уроженку Вены, толстушку с такими задорными глазками, что, несмотря на сплошь седые волосы, она кажется гораздо моложе своих лет, загоровшись при звуках вальса Штрауса, которые раззадоренные музыканты играют с чисто цыганским остервенением, подбегает к ней, обнимает за талию и увлекает, крича остальным: «Что же вы? Что же вы?.. Танцуйте!»



Толчок дан – и вот уже все оттаяли, все закружились и понеслись. Танцуют в прихожей, в салоне, вокруг длинного зеленого стола в читальном зале. А ведь это он их так расшевелил, вот молодчина! Сам он, однако, больше не танцует – прошелся несколько туров и запыхался. Но он распоряжается балом, подгоняет музыкантов, подбирает пары, бросает боннского профессора в объятия к какой-то старой англичанке, на чопорного Астье-Рею напускает самую резвую из перуанок. Сопrotивляться бесполезно. От этого ужасного альпиниста исходят какие-то токи, от которых вы срываетесь с места, от которых у вас вдруг становится легко на душе. И – ух ты, ух ты! Презрения, ненависти как не бывало. Нет больше ни рисолюбков, ни черносливцев – вальсируют все. Безумие распространяется, охватывает все этажи, и в широком пролете лестницы видно, как на площадке седьмого этажа кружатся, будто заводные куклы, служанки-швейцарки в своих тяжелых пестрых юбках.

И пусть на дворе бушует ветер, раскачиваются фонари, гудит телеграфная проволока, пусть крутятся снежные вихри на пустынной вершине. Здесь уютно, тепло, и на всю ночь хватит и тепла и уюта.

«Пойду-ка я все-таки спать...» – говорит себе добрый альпинист, ибо он человек благо-разумный, ибо он из того края, где быстро воспламеняются, но еще быстрее гаснут. Посме-иваясь в свою седоватую бороду, он пробирается, он крадется так, чтобы ускользнуть от фрау Шванталер, которая после тура вальса всюду ищет его, вцепляется в него, все хочет «плясирен... танцирен...».

Он берет ключ, подсвечник и на площадке второго этажа останавливается на минутку, чтобы полюбоваться делом рук своих, взглянуть на этих сидней, которых он заставил весе-литься, которых он растормошил.

Тяжело дыша после прерванного вальса, к нему подбегает швейцарка и протягивает ему вместе с пером книгу для приезжающих:

– Будьте любезны, сударь, распишитесь...

Он колеблется. Стоит или не стоит сохранять инкогнито?

А впрочем, какое это имеет значение? Если даже весть о его прибытии и разнесется по отелю, все равно никто не догадается, зачем он приехал в Швейцарию. А зато любо-пытно будет посмотреть завтра утром, как вытянутся физиономии у всех этих «инглишме-нов», когда они узнают... Девчонка наверняка проболтается... То-то все удивятся, то-то все будут ошеломлены!..

– Как? Это он?... Он!..

Мысли эти мелькнули у него в голове, стремительные, скользящие, как удары смычка. Он взял перо и небрежною рукою под именами Астье-Рею, Шванталера и других знамени-тостей поставил имя, которое должно было затмить все предыдущие, – то есть свое имя. Затем он поднялся к себе в номер, даже не полюбовавшись тем впечатлением, какое он про-извел на служанку, – так он был уверен в эффекте.

Швейцарка заглянула и прочла:

ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА

А под этим:

П. К. А.

Уроженка Берна, прочтя это, совсем не была ошеломлена.

Она понятия не имела, что означают буквы: П.К.А. Она ничего не слыхала о «Дарда-рене».

Э-эх, дикарка!

II

Тараскон – поезд стоит пять минут! Клуб альпинцев. Что такое П. К. А. Кролики садковые и кролики капустные. «Вот мое завещание». Мертвецкий сироп. Первый подъем. Тартарен вынимает очки

Когда название «Тараскон» звучит, как фанфара, в поезде Париж – Лион – Средиземное море под чистым, струящимся провансальским небом, головы любопытных пассажиров выглядывают из всех окон экспресса, и от вагона к вагону идет переключка:

– А вот и Тараскон!.. Посмотрим, каков Тараскон!

А между тем ничего особенного в нем как будто и нет: мирный, чистенький городок, башни, кровли, мост через Рону. Места эти славятся и привлекают к себе беглый взор пассажиров, во-первых, тарасконским солнцем, чудотворством миража, порождающего столько неожиданностей, столько вымыслов, столько забавных нелепостей, а во-вторых, этим маленьким жизнерадостным народцем ростом с чечевичное зернышко, отражающим и воплощающим в себе инстинкты всего французского юга, народом живым, подвижным, болтливым, взбалмошным, потешным, впечатлительным.

Летописец Тараскона на достопамятных страницах своей истории (назвать ее точнее ему не позволяет скромность) некогда попытался нарисовать картину счастливых дней маленького городка, жители которого посещали Клуб, распевали романсы, причем у каждого из них был свой любимый романс, и за неимением дичи устраивали любопытную охоту за фуражками. Потом вспыхнула война, и для Тараскона тоже настало грозное время, время его героической обороны: эспланаду заминировали, к Клубу и к Театральному кафе немисливо было пробраться, жители, все как один, вступили в вольные дружины, нацепили нашивки в виде скрещенных костей и черепа, все как один отрастили бороды и сверху донизу увешались секирами, палашами и американскими револьверами, – бедняги боялись близко подойти друг к другу на улице.

Много лет прошло с тех пор, много календарей было брошено в печь, но Тараскон ничего не забыл: отказавшись от прежних пустых развлечений, он думал теперь только о том, как бы развить в себе силу и ловкость для будущего реванша. Стрелковые и гимнастические общества, у каждого из которых была своя форма, свое снаряжение, свой оркестр и свое знамя, фехтование, бокс, бег, борьба, в которой принимали участие даже лица из высшего круга, вытеснили охоту за фуражками и платонические охотничьи беседы у оружейника Костекальда.

Наконец, Клуб, тот самый старый Клуб, отказавшись от буйотты и безика, превратился в Клуб альпинцев по образцу знаменитого лондонского Эльпайн-клуба, слава которого гремит даже в Индии. Различие между этими двумя клубами заключается в следующем: тарасконцы, вместо того чтобы, покинув родимый край, стремиться достигнуть чужеземных высот, довольствуются тем, что у них под рукой или, вернее, под ногой, за чертой города.

Альпы в Тарасконе?.. Альп, правда, нет, но зато есть Альпины: эта цепочка горок, благоухающих тмином и лавандой, не слишком крутых и не очень высоких (всего 150 – 200 метров над уровнем моря), голубыми волнами застилает горизонт перед глазами путников, странствующих по дорогам Прованса, и каждую такую горку фантазия местных жителей

постаралась украсить баснословным и в то же время выразительным названием: Страшная гора, Край света, Пик великанов и т. д.

Любо смотреть, как в воскресное утро тарасконцы, все до одного в гетрах, опираясь на альпенштоки, с мешками и палатками за плечами, с горнистами впереди, отправляются совершать подъем, о котором, не щадя красок и употребляя самые сильные выражения, вроде «наводящие ужас обрывы, пропасти, теснины», как будто речь идет о восхождении на Гималаи, даст потом отчет местная газета «Форум». Понятно, что благодаря подобным забавам местные жители значительно окрепли и у них появились двойные мускулы, которые прежде составляли преимущество одного лишь Тартарена, доброго, неустрашимого, героического Тартарена.



Если Тараскон – олицетворение юга, то Тартарен – олицетворение Тараскона. Он не только первый его гражданин, он его душа, его гений, он воплощение всех его сумасбродств. Всем известны его бывшие подвиги, его певческие триумфы (о незабываемый дуэт из «Роберта Дьявола» в аптеке у Безюке!) и потрясающая одиссея его охоты на львов в Алжире, откуда он вывез великолепного верблюда, последнего алжирского верблюда, кото-

рый впоследствии изнемог под бременем лет и почестей и чей остов доныне покоится в городском музее среди прочих тарасконских достопримечательностей.

Зато сам Тартарен отлично сохранился: все такие же у него прекрасные зубы, все такой же меткий глаз, несмотря на то, что ему перевалило за сорок, и прежнее пылкое воображение, приближающее и увеличивающее предметы не хуже любого телескопа. О нем и сейчас бравый командир Бравида с полным основанием мог бы сказать: «Он у нас молодец...»

Молодец-то молодец, да только на свой особый образец. В Тартарене, как во всяком тарасконце, уживаются две ярко выраженные породы – кролика садкового и кролика капустного. Кролик садковый – непоседа, смельчак, сорвиголова, кролик капустный – домосед, любит лечиться и безумно боится переутомления, сквозняка и всевозможных случайностей, которые могут оказаться роковыми.

Общеизвестно, что благоразумие не мешало Тартарену в случае необходимости действовать храбро, даже героически. Позволительно, однако, задать себе вопрос: что же он собирался делать на Риги (на *Regina montium*) в таком возрасте и после того, как он столь дорогою ценой приобрел право на отдых и благоденствие?

На этот вопрос мог бы ответить один лишь вероломный Костекальд.

Костекальд, по роду своих занятий оружейник, представляет собою тип, довольно редкий в Тарасконе. Зависть, низкая, черная зависть, залегающая в злобной складке его тонких губ и чем-то вроде клубов желтого пара исходящая из его печени, закапчивает его широкое тщательно выбритое, с правильными чертами лицо сплошь в каких-то вмятинах, точно от ударов молотка, напоминающее изображение Тиберия или Каракаллы на старинных медалях. Зависть – это у него своего рода болезнь, и он даже не пытается ее скрыть; со свойственным ему бурным тарасконским темпераментом он сплошь да рядом не выдерживает и так говорит о своем недуге:

– Вы себе не представляете, как это мучительно...

Виновником Костекальдовых мучений был, разумеется, Тартарен. Столько почестей одному человеку! Везде и всюду он! И Костекальд вот уже двадцать лет медленно, незаметно, подобно древоточцу, забравшемуся в золоченого идола, подтачивает изнутри его громкую славу, долбит ее, подрывает. Когда вечерами в Клубе Тартарен рассказывал о своей охоте на львов, о скитаниях по необозримой Сахаре, Костекальд беззвучно посмеивался и недоверчиво покачивал головой.

– Ну, а как же шкуры, Костекальд?.. Ведь он же прислал нам львиные шкуры, и они висят в клубной зале!..

– Ах, ах, ах!.. А вы думаете, в Алжире мало скорняков?

– А следы пуль, эти круглые дыры в головах?..

– Ну и что? Разве во времена охоты за фуражками неопытные стрелки не покупали у наших шапочников простреленные дробью дырявые фуражки?

Разумеется, эти подвохи бессильны были поколебать славу Тартарена – истребителя хищных зверей, но в качестве альпиниста он был далеко не так неуязвим, и Костекальд этим пользовался и метал громы и молнии по поводу того, что председателем Клуба альпинцев избран человек, с годами явно «отяжелевший», да к тому же привыкший в Алжире к мягким туфлям и просторной одежде, еще больше располагающей к лени!

В самом деле, Тартарен редко принимал участие в восхождении на горы; он предпочитал напутствовать альпинцев, а потом, на торжественных заседаниях, вращая глазами и с такими интонациями, от которых бледнели дамы, читать потрясающие отчеты об экспедиции.

Напротив, Костекальд, жилистый, поджарый, «Петушья Нога», как его называли, лез всегда впереди всех; он облазил Альпины и на неприступных вершинах водрузил клубное знамя с изображением Тараска на звездном поле. Тем не менее он был всего лишь вице-

президентом, В. П. К. А. Но он развил такую бешеную деятельность, что на предстоящих выборах Тартарена провалили бы наверняка.

Испытанные друзья Тартарена – аптекарь Безюке, Экскурбаньес и brave командир Бравида – предупредили его, и на душе у нашего героя стало ужасно мерзко; в нем поднялась волна негодования, которую у натур возвышенных всегда вызывают неблагодарность и несправедливость. Он уже готов был махнуть на все рукой и покинуть родину, то есть перейти мост и поселиться в Бокере, у вольсков, но, впрочем, быстро успокоился.

Бросить свой домик, сад, изменить столь милым его сердцу привычкам, отказаться от президентского кресла в Клубе альпинцев, который он же и учредил, от пышных инициалов П. К. А., которые составляли украшение и отличительный знак его визитных карточек, бумаги для писем и даже подкладки его шляпы? Нет, это невозможно, ни, ни, ни! И тут его осенила счастливая мысль.

В сущности говоря, подвиги Костекальда представляли собою прогулки по Альпинам, не больше. Почему бы Тартарену в течение трех месяцев, которые еще оставались до пере-выборов, не затеять какое-нибудь грандиозное предприятие? *Напрррмэр*, водрузить клубный стяг на вершине одной из самых высоких гор в Европе – на Юнгфрау или на Монблане?

Какой триумф по возвращении, какая пощечина Костекальду, когда «Форум» поместит отчет об этом восхождении! Пусть-ка он тогда попробует оспаривать у Тартарена президентское кресло!

Тартарен тотчас же принялся за дело: тайно от всех выписал себе уйму специальных трудов – «Восхождения на горы» Вимпера, «Ледники» Тиндаля, «Монблан» Стефана д'Арва, записки Английского и Швейцарского клуба альпинистов – и забил себе голову множеством альпинистских терминов, смысл которых оставался ему, однако, не совсем ясен, – всеми этими «каминами, кулуарами, фирнами, сераками, моренами и трещинами».

По ночам ему снились страшные сны: то будто он скользил без конца по льду, то стремглав летел в бездонную расселину, на него рушились обвалы, острые льдины пронзали ему грудь. И долго потом, уже проснувшись и напившись шоколаду, – по своему обыкновению, в постели, – он находился под тяжелым, гнетущим впечатлением от дурного сна. И тем не менее, встав с постели, он все утро усердно тренировался.

Через весь Тараскон тянется бульвар, который у местных жителей получил название Городского круга. Каждое воскресенье, после обеда, тарасконцы, люди косные, несмотря на всю живость их воображения, обходят этот круг, и непременно в одном направлении. Тартарен приучил себя обходить его восемь, а то и десять раз в течение утра, причем нередко и в обратном направлении. Он шел, заложив руки за спину, решительным, медленным, уверенным, настоящим «горным» шагом, и при виде его лавочники, напуганные столь явным нарушением местных обычаев, терялись в догадках.

У себя, в своем экзотическом садике, он учился прыгать через расселины, то есть перескакивал через бассейн, в котором среди водорослей плавали карпы; дважды при этом он падал в воду и вынужден был переодеваться. Но эти неудачи еще пуще его раззадоривали: будучи подвержен головокружениям, он, к великому ужасу старой служанки, которая никак не могла взять в толк, к чему все эти фокусы, ходил по узкой окраине колодца.

Одновременно он заказал хорошему авиньонскому слесарю «кошки» системы Вимпера и ледоруб системы Кеннеди; запаса он также спиртовкой, двумя непромокаемыми плащами и двумястами футов веревки собственного изобретения, сплетенной из проволоки.



Прибытие этих предметов, а также таинственные разъезды, которых потребовало их изготовление, возбудили у тарасконцев живейшее любопытство. В городе говорили: «Президент что-то затевает». Но что именно? Разумеется, нечто сногшибательное, ибо, пользуясь прекрасным выражением бравого и склонного к нравоучениям командира Бравида, каптенармуса в отставке, изъяснявшегося исключительно поговорками, «орел на мух не охотится».

Даже самым близким друзьям Тартарен не поверил своей тайны. Только на заседаниях Клуба все замечали, как дрожал у него голос и какие ослепительные молнии загорались у него во взоре, когда он обращался к Костекальду, косвенному виновнику новой экспедиции, трудность и опасность которой по мере ее приближения становились ему все яснее. Злосчастный Тартарен не закрывал на это глаза – напротив, экспедиция рисовалась ему в необыкновенно мрачном свете, настолько, что он даже счел необходимым привести в порядок свои дела и составить духовное завещание, а между тем для таких жизнелюбов, как

тарасконцы, изъявление последней воли – это нож острый и большинство из них умирает, так и не составив завещания.

И вот представьте себе ясное июньское утро, безоблачный, роскошный небосвод, растворенную дверь кабинета, ведущую в маленький садик с заботливо посыпанными песком дорожками, садик, где четко вырезаются на земле недвижные лиловые тени экзотических растений и где чистый звук звонкой струйки воды выделяется среди радостных криков маленьких савояров, играющих у калитки в классы, и, наконец, самого Тартарена в мягких туфлях, в просторной фланелевой одежде, довольного, счастливого, с трубкой в зубах, пишущего и вслух перечитывающего только что написанное:

ВОТ МОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Конечно, можно приказать своему сердцу молчать, можно взять себя в руки, а все же, что ни говорите, это мучительные мгновения. Однако ни рука, ни голос у Тартарена ни разу не дрогнули, пока он распределял между своими согражданами те сокровища из разных стран, которые он собрал, за которыми он так ухаживал и которые хранились у него в домике в таком образцовом порядке:

Клубу альпинцев – баобаб (*arbos gigantea*); пусть он стоит на камине в зале заседаний;

Бравида – карабины, револьверы, охотничьи ножи, малайские криксы, томагавки и прочие виды оружия;

Экскурбаньесу – все чубуки, индейские трубки, наргиле, трубочки для курения гашиша и опиума;

Костекальду – да, да, Тартарен не забыл и Костекальда! – знаменитые отравленные стрелы («Не прикасайтесь!»).

Быть может, этот последний пункт был составлен не без тайной надежды, что предатель наколется на стрелу и умрет; во всяком случае, из самого текста завещания это отнюдь не явствовало, и заканчивалось оно словами, дышавшими поистине божественной кротостью:

«Прошу моих дорогих альпинцев не забывать своего президента.

Пусть они простят моему врагу, как прощаю ему я, несмотря на то, что он главный виновник моей смерти...»

Тут Тартарен невольно остановился – слезы так и хлынули у него из глаз. Его мысленный взор нарисовал такую картину: вот он, разбившись, лежит у подножия высокой горы, вот его кладут на повозку, а затем отсылают в Тараскон его изуродованные останки. О, сила провансальского воображения! Он уже присутствовал на собственных похоронах, слышал зауспокойное пение, слышал речи над своей могилой: «*Бэдный Тартаррен, вэчная ему память!...*» И, затерянный в толпе друзей, он сам себя горько оплакивал.

Однако вид кабинета, сплошь залитого солнцем, лучи которого играли на рядах оружия и трубок, и песенка фонтана, доносившаяся из сада, вернули его к действительности. Зачем же все-таки умирать? Зачем даже уезжать? Кто его гонит? Что за идиотское честолюбие! Рисковать жизнью ради президентского кресла и инициалов!..

Но это была опять-таки слабость, столь же мимолетная, как и предшествовавшая ей. В пять минут завещание было закончено, скреплено подписью и огромной черной печатью, после чего великий человек занялся последними приготовлениями к отъезду.

Тартарен садковый снова восторжествовал над Тартареном капустным. О тарасконском герое можно было сказать то же, что было сказано о Тюренне: «Его плоть не всегда была готова идти на битву, но дух его вел помимо него».

В тот же вечер, когда часы на ратуше пробили десять, когда улицы опустели и словно расширились и лишь кое-где запоздало стучал дверной молоток да перекликались впотьмах сдавленные, охрипшие от страха голоса: «Нэ, спокойной ночи!..» – а затем хлопали двери, кто-то крался по темному городу, где фасады домов были освещены лишь фонарями, а розовые и зеленые шары освещали фасад стоявшей на Малой площади аптеки, в окне которой четко очерчивался силуэт Безюке, дремавшего за конторкой над фармакопеей. Этот скромный аванс Безюке брал у себя ежевечерне, от девяти до десяти, с тем чтобы, как он выражался, быть пободрее, если ночью потребуются его услуги. Между нами говоря, это была чистейшая тарасконада, потому что никто никогда его не будил, и, чтобы спать спокойно, он сам же отвязывал на ночь проволоку у звонка.

Внезапно в аптеку вошел Тартарен, таща на спине плащи, с дорожным мешком в руках, до того бледный и расстроенный, что аптекарь перепугался не на шутку, ибо его пламенному тарасконскому воображению тотчас представилось нечто ужасное.

– Несчастный!.. Что с вами?.. Вас отравили?.. Скорей, скорей рвотного!

И, опрокидывая склянки, он заметался по комнате. Чтобы удержать Безюке, Тартарену пришлось схватить его в охапку.

– Да выслушайте вы меня, *чэrrрт побери!*

В голосе его слышалась сдержанная досада актера, которому сорвали эффектный выход. Все еще держа железною рукою аптекаря, замершего за прилавком, Тартарен шепотом:

– Мы одни, Безюке?

– Ну да!.. – сказал тот, с безотчетным страхом оглядываясь по сторонам. – Паскалон спит (Паскалон был его ученик), маменька тоже, а что?

– Закройте ставни, – не ответив на вопрос, скомандовал Тартарен. – Нас могут увидеть с улицы.

Безюке, дрожа всем телом, повиновался. Старый холостяк, он всю жизнь прожил с матерью и был тих и застенчив, как девушка, что составляло резкий контраст с его загорелой кожей, толстыми губами, большим крючковатым носом и длинными усами – одним словом, с наружностью пирата из еще не покоренного Алжира. Подобные противоречия в Тарасконе нередки: головы тарасконцев просятся на полотно – до того они выразительны, до того ярко в них запечатлелись характерные особенности римлян и сарацин, обладатели же их занимаются безобидными ремеслами и проживают в тишайшем захолустном городке.

Так, например, Экскурбаньес, похожий на конкистадора, сподвижника Писарро, содержит галантерейную лавочку и вращает горящими глазами, продавая на два су ниток, а Безюке, наклеивающий ярлычки на коробочки с лакрицей и на пузырьки с *sirupus gummi*⁴, напоминает старого пирата – грозу берберийских берегов.

Как только ставни с помощью болтов и задвижек были плотно затворены, Тартарен, любивший называть собеседников просто по именам, начал так:

– Послушайте, Фердинанд...

И он тут же все и выложил, излил все, что накопело у него в сердце, всю свою досаду на неблагодарных сограждан, рассказал о происках Петушьей Ноги, о том, что соперник собирается провалить его на выборах, и о том, как он, Тартарен, намерен парировать удар.

Прежде всего надо держать его замысел в тайне и открыть только тогда, когда это будет необходимо, когда от этого будет зависеть успех его затеи, которому, впрочем, всегда может помешать какая-нибудь случайность, какая-нибудь страшная катастрофа...

– А, черт вас возьми, Безюке, да не свистите же вы, когда с вами разговаривают!

⁴ Камедным сиропом (*лат.*).

Это у Безюке вошло в привычку. Он был несловоохотлив от природы, что вообще не часто встречается в Тарасконе и благодаря чему аптекарь и заслужил доверие президента, но своим толстым губам он постоянно придавал форму буквы О, и из его раскрытого рта дыхание вырывалось с каким-то присвистом, точно он всем на свете смеялся в лицо, даже во время самых серьезных разговоров.

Вот и теперь: наш герой намекал на возможность своей близкой кончины и, кладя на прилавок большой запечатанный пакет, говорил: «Вот тут мое завещание, Безюке, – своим душеприказчиком я назначаю вас», а Безюке, который никак не мог отстать от своей дурной привычки, все только насвистывал: «Фью! Фью! Фью!»; однако в глубине души он был очень взволнован и сознавал всю важность своей роли.

Между тем час расставания был уже недалек, и аптекарь предложил выпить за успех предприятия «чего-нибудь вкусенького. *Чтэ?..* По стаканчику эликсира Гарюс!». Раскрыв и обшарив несколько шкафчиков, он, наконец, вспомнил, что ключи от Гарюса у маменьки. Если разбудить ее, то придется объяснять, в чем дело. Решено было заменить эликсир «Мецким сиропом», прохладительным напитком, скромным и вполне невинным, который изобрел сам Безюке и о котором он помещал в «Форуме» такого рода объявления: «Мецкий сироп, десять су с посудой, полезно и приятно». «Мертвецкий сироп, десять су с посудой, черви бесплатно», – переиначивал злобный Костекальд, не выносивший чужого успеха. Однако своим ужасным каламбуром Костекальд достиг лишь увеличения спроса на мертвецкий сироп, и тарасконцы от него в полном восторге.

Приятели совершили возлияние, обменялись еще несколькими словами, обнялись, и Безюке засвистел себе в усы, по которым катились крупные слезы.

– *Ннэ*, прощайте!.. – чувствуя, что и сам сейчас заплачет, буркнул Тартарен, а так как железная штора над дверью была спущена, то герой наш принужден был выбираться из аптеки на четвереньках.

Это было начало его дорожных испытаний.

Три дня спустя он сошел с поезда в Фицнау, у подножия Риги. Для разгона, для тренировки он избрал Риги отчасти по причине ее небольшой высоты (1800 метров, раз в десять выше Страшной горы – самой высокой из Альпинских гор!), отчасти потому, что с нее открывается дивная панорама Бернских Альп, белых и розовых, теснящихся вокруг озер и словно ждущих, когда альпинист остановит на какой-нибудь из высот свой выбор и двинется на приступ.

Тартарен был уверен, что дорогой его узнают и, может быть, даже станут за ним следить, ибо по наивности своей воображал, что он так же знаменит и широко известен во всей Франции, как и в Тарасконе, а потому, прежде чем попасть в Швейцарию, нарочно дал крюку и только уже на самой границе облекся в доспехи. И хорошо сделал: во французских вагонах все его снаряжение ни за что бы не поместилось.

Но, несмотря на то, что швейцарские купе на редкость удобны, наш альпинист, с непривычки путавшийся во всех своих приспособлениях, наступал пассажирам на ноги альпенштоком, зацеплял их на ходу крючьями, и куда бы он ни входил – в вокзал, в отель или же на пакетбот, – всюду на него вместе с возгласами удивления обрушивались толчки и проклятия, и все провожали его злобными взглядами, причину которых он не мог себе уяснить и от которых страдала его любвеобильная и общительная натура. И к тому же еще серое, затянутое тучами небо и проливной дождь.



В Базеле дождь поливал маленькие беленькие домики, уже и так чисто-начисто вымытые руками служанок и дождевою водой. В Люцерне дождь поливал сваленные на пристани тюки и чемоданы, имевшие такой вид, будто их только что вытащили из воды после кораблекрушения. Когда же Тартарен сошел с поезда в Фицнау, на берегу Озера четырех кантонов, то здесь ливень низвергался на зеленеющие склоны Риги, по которым ползли черные тучи, потоками прядал со скал, обдавал водяною пылью, стекал со всех камней, со всех еловых иголок. Никогда еще тарасконцу не приходилось видеть столько воды.

Он зашел в трактир и спросил себе кофе со сливками, с медом и с маслом, а надо заметить, что это действительно очень вкусно, и Тартарен наслаждался этим еще в пути. Подкрепившись и вытерев уголком салфетки липкую от меда бороду, он решил немедленно начать свой первый подъем.

— Э, чтэ, — заговорил он, взваливая на спину мешок, — за сколько времени можно подняться на Риги?

– За час, за час с четвертью, сударь. Но торопитесь, – до отхода поезда только пять минут.

– Поезд на Риги?.. Да вы что, шутите?

В мутное трактирное окно ему показали отходивший поезд. Два больших крытых вагона без вентиляции приводились в движение локомотивом с короткой пузатой трубой, похожей на котел, – таким чудовищным насекомым, впившимся в гору и, пытаясь, карабкающимся по ее отвесным склонам.

Мысль о том, чтобы подняться на гору в этой отвратительной машине, привела в негодование обоих Тартаренов – и садкового и капустного. Первому показался нелепым этот механический способ подъема на Альпы. Что же касается второго, то висащие в воздухе мосты, через которые лежал железнодорожный путь, и перспектива падения с тысячеметровой высоты, стоит только поезду чуть-чуть сойти с рельсов, наводили его на весьма печальные размышления, и основательность их подтверждалась видом маленького кладбища в Фицнау, у самой горы, – этих белых могильных холмов, что лепились один к другому, точно белье, развешанное во дворе прачечной. Очевидно, кладбище устроено здесь не зря – чтобы в случае чего путешественники могли воспользоваться его гостеприимством.

«Пойду-ка я пешком, – сказал себе отважный тарасконец. – Это будет для меня упражнением. А ну!...»

И, внимательно следя за движениями своего альпенштока, чтобы не осрамиться перед трактирной прислугой, теснившейся на пороге, и не слушая ее наставлений, тронулся в путь. Сперва он шел в гору по дороге, которая была вымощена крупным неровным булыжником, так же суживавшимся кверху, как суживается к концу переулочек в южном городке, и по обочинам которой тянулись еловые желоба для стока воды.

Справа и слева – бесконечные фруктовые сады, влажные и тучные луга, прорезанные такими же, как вдоль дороги, водостоками – выдолбленными деревянными колодами. От этого на всей горе, сверху донизу, воздух полнился немолчным плеском, а когда альпинист задевал на ходу своим ледорубом ветви дуба или орешника, всякий раз поднимался такой шум, словно Тартарена сверху поливали из лейки.

– Свят, свят, свят, сколько воды! – вздыхал южанин.

Но дело приняло совсем уже скверный оборот, когда мостовая неожиданно кончилась и Тартарену пришлось шлепать по воде и перепрыгивать с камня на камень, чтобы не промочить гетры. В довершение всего хлынул дождь, он лил не переставая, от него не спасала никакая одежда, и с каждым шагом у Тартарена усиливалось ощущение холода. Когда он останавливался передохнуть, ему чудилось, будто он затонул в широко раскинувшемся шуме воды, поглотившем все остальные звуки; оглядываясь назад, он смотрел, как облака длинными и тонкими стеклянными палочками протягиваются к озеру и как блестят в просветах домики Фицнау, похожие на только что покрытые лаком игрушки.

Навстречу Тартарену попадались мужчины, дети – все они шли, пригнув головы, сгорбившись под тяжестью плетушек с провизией для какой-нибудь виллы или пансиона, балконы которых вырисовывались на склоне горы.

– «Риги-Кульм»? – чтобы удостовериться, та ли это дорога, спрашивал Тартарен.

Но его странное одеяние, в особенности вязаный шлем, закрывавший ему лицо, наводило страх на прохожих, и они, вытаращив глаза, молча прибавляли шаг.

Однако и эти встречи становились все реже. Последним живым существом на его пути была старуха – под огромным красным зонтом, воткнутом в землю, она полоскала белье в водостоке.

– «Риги-Кульм»? – спросил ее альпинист.

Старуха подняла на него бессмысленные испуганные глаза, выставив подпиравший ей голову зоб величиною с колокольчик вроде тех, какие подвешивают швейцарским коро-

вам. Пристально посмотрев на Тартарена, она разразилась неудержимым хохотом, и от этого хохота рот у нее растянулся до ушей, а щелки глаз совсем закрыло морщинами; когда же она вновь раскрывала глаза, то вид Тартарена, стоявшего перед нею как вкопанный, с ледорубом на плече, всякий раз приводил ее в еще более веселое расположение духа.

– Громы небесные! Если б это не женщина... – пылая гневом, проворчал тарасконец. Он пошел дальше – и заблудился в ельнике, где ноги так и разъезжались на мокром мху.

Выше пейзаж изменился. Ни троп, ни деревьев, ни пастбищ. Мрачные голые скаты, крутые обрывы, по которым приходилось взбираться на четвереньках, наполненные желтой грязью рвы, которые Тартарен переходил медленно, нащупывая дно альпенштоком и, как точильщик, высоко поднимая ноги. Ежеминутно поглядывал он на маленький компас, висевший у него, точно брелок, на длинной цепочке для часов, но то ли под влиянием высоты, то ли под влиянием резких колебаний температуры стрелка компаса словно ополоумела. Ориентироваться самому не представлялось возможным: в десяти шагах ничего не было видно из-за густого желтого тумана, а затем пошел мелкий дождь со снегом, началась гололедица, и подъем делался все труднее и труднее.

Вдруг Тартарен остановился – впереди что-то смутно белело... Береги глаза!..

Он вступил в полосу вечных снегов...

Тотчас же достал он из футляра очки и прочно насадил их на переносицу. Минута была торжественная. Слегка взволнованный и вместе с тем гордый, Тартарен вообразил, что он одним рывком приблизился на тысячу метров к вершинам и к великим опасностям.

Дальше Тартарен продвигался с особенной осторожностью, все время думая о расщелинах и трещинах, о которых столько написано в книгах, и в глубине души проклиная обитателей трактира, посоветовавших ему идти прямо и без проводника. А вдруг он взбирается не на ту гору? Ведь он идет уже больше шести часов, а подняться на Риги можно и за три часа. Дул ветер, холодный ветер, и во мгле сумерек кружил снег.

Ночь застигла его на дороге. Где бы найти хоть какую-нибудь лачугу, хотя бы выступ скалы, чтобы укрыться от непогоды? Вдруг он увидел прямо перед собой, на пустынном и голом плоскогорье, нечто вроде деревянной дачи с вывеской, на которой, несмотря на изрядные размеры букв, он с трудом разобрал: «Фо-то-гра-фия Ри-ги-Кульм». В ту же минуту чуть поодаль показался громадный трехсотоконный отель, празднично светившийся в вечернем мраке огнями своих фонарей.

III

Тревога на вершине Риги. Спокойствие! Спокойствие! Альпийский рог. Что Тартарен, проснувшись, обнаружил на зеркале. Замешательство. Проводника вызывают по телефону

– Кто идет?.. Кто там?.. – весь превратившись в слух и напряженно вглядываясь в темноту, восклицал Тартарен.

Во всем отеле слышались беготня, хлопанье дверей, пыхтенье, крики: «Скорей, скорей!..» А снаружи доносились призывные звуки трубы, резкие вспышки пламени освещали оконные стекла и занавески...

Пожар!..

Тартарен вскочил с постели, оделся, обулся и бегом пустился вниз по лестнице, – там еще горел газ и по ступенькам спускался шумливый рой мисс в наскоро надетых шапочках, в зеленых шالях, в красных шерстяных платках – словом, во всем, что попало им под руку, когда они вставали.

Чтобы подбодрить себя и успокоить барышень, Тартарен, торопясь и всех расталкивая, вопил: «Спокойствие! Спокойствие!» – голосом пронзительным, как у морской чайки, сдавленным, отчаянным, каким иногда кричат во сне, голосом, от которого даже у храбрых людей душа в пятки уходит. А эти юные мисс смеялись, глядя на него: наверно, он казался им очень смешным. Ну, да что с них взять, в этом возрасте разве думают об опасности?

К счастью для Тартарена, следом за девицами шел престарелый дипломат, весьма легкомысленно одетый: из-под пальто у него выглядывали белые кальсоны и кончики тесемок.

Наконец-то мужчина!..

Размахивая руками, Тартарен подбежал к нему.

– Ах, барон, какое несчастье!.. Вы что-нибудь знаете?.. Где это?.. С чего началось?

– А? Что?.. – ничего не понимая, лепетал оторопевший барон.

– Да ведь пожар!..

– Какой пожар?..

У бедного дипломата был до того подавленный и до того глупый вид, что Тартарен оставил его в покое и опрометью кинулся к выходу «подавать помощь»...

– Помощь! Помощь! – повторял барон, а за ним пятеро слуг, которые до этого стоя спали в прихожей и теперь в полном недоумении переглядывались.

Как только Тартарен вышел на крыльцо, он сразу понял, что ошибся. Никакого пожара. Собачий холод, кромешная тьма, сквозь которую пробивается лишь слабый свет смоляных факелов, – их пламя колеблется, на снегу от них длинные кроваво-красные полосы.

На нижней ступеньке крыльца игрок на альпийском роге вырывал жалобную, однообразную, состоявшую всего из трех нот пастушескую мелодию, которой в «Риги-Кульм» имеют обыкновение будить поклонников солнца и возвещать им, что дневное светило скоро взойдет.

Уверяют, будто первый его отблеск загорается на самой вершине горы, за отелем. Чтобы не сбиться, Тартарену нужно было только держаться того направления, откуда доносился неумолкаемый смех мисс. Но он шел медленно, – его одолевала дремота, ноги после шестичасового подъема слушались плохо.

– Это вы, Манилов?.. – внезапно послышался в темноте звонкий женский голос. – Помогите мне... Я потеряла туфлю.

Тартарен узнал чужеземный щебет своей юной соседки по табльдоту, разглядел ее стройный силуэт на тускло отсвечивавшем снегу.

– Я не Манилов, сударыня, но я рад быть вам полезным...

Слегка вскрикнув от испуга и от неожиданности, девушка отшатнулась, но Тартарен этого не заметил, – он уже наклонился и шарил по скошенной, хрустевшей от мороза траве.

– Э, да вот она!.. – торжествующе воскликнул он.

Отряхнув миниатюрную туфельку от снега, он опустился на одно колено и галантнейшим тоном попросил в награду сделать ему такую милость – позволить обуть Золушку.

Золушка, более суровая, чем в сказке, ответила в высшей степени сухо: «Нет!» – и запрыгала на одной ножке, стараясь попасть другой ногой, которую обтягивал шелковый чулок, в коричневую туфельку. Но это ей так бы и не удалось без помощи нашего героя, который, почувствовав на своем плече прикосновение крошечной ручки, весь так и загорелся.

– У вас хорошее зрение, – сказала она в знак благодарности, ощупью пробираясь рядом с ним дальше.

– Привычка выслеживать зверя, сударыня.

– А вы разве охотник?

Она произнесла это с оттенком насмешки и недоверия. Чтобы убедить ее, Тартарену надо было только назвать свое имя, но, как все носители славных имен, он отличался скромностью и в то же время любил пококетничать. Желая немножко поинтриговать ее, он сказал:

– *Ну дэ, я эхэтник...*

– А на какого же зверя вы чаще всего охотитесь? – продолжая над ним потешаться, допытывалась она.

– На диких зверей, на крупных хищников... – думая поразить ее, ответил Тартарен.

– И много вы их нашли на Риги?

Галантный тарасконец за словом в карман не лез: он уже собирался ответить ей комплиментом, что на Риги он видел только газелей, как вдруг его прервали на полуслове две приближавшиеся тени.



– Соня!.. Соня!.. – звали они.

– Мне надо идти... – сказала она и, повернувшись к Тартарену, глаза которого, привыкшие к темноте, различили черты ее красивого бледного лица в обрамлении мадридской мантильи, добавила уже серьезно: – Опасную охоту вы затеяли, милейший... Как бы вам не сложить здесь кости...

И она тотчас же исчезла во мраке вместе со своими спутниками.

Угрожающая интонация, с какой это было сказано, дошла до сознания тарасконца позднее, а сейчас он был озадачен обращением «милейший», которое не подобало ни его сединам, ни его полноте, и внезапным уходом девушки как раз в тот момент, когда он собирался назвать себя и полюбоваться произведенным впечатлением.

Он сделал несколько шагов в сторону удалявшейся группы и услышал невнятный говор, покашливание и чиханье сбившихся в кучу и с нетерпением ожидавших восхода солнца туристов, наиболее смелые из которых взобрались на небольшую вышку, выделявшуюся на исходе ночи белизною оснеженных столбов.

На востоке протянулась полоска света, и его приветствовали новый призыв охотничьего рога и облегченный вздох туристов, похожий на тот, который вызывает у театральной публики третий звонок. Сначала едва заметная, как щель от неплотно прикрытой крышки, полоска света мало-помалу распространялась и расширяла горизонт. Но снизу поднимался густой желтый туман, и чем ярче разгоралась заря, тем он становился въедливее и плотнее. Это был как бы занавес, отделяющий сцену от зрителей.

Потрясающее зрелище, обещанное путеводителями, не состоялось. Взамен предлагались вниманию причудливые фигуры невыспавшихся вчерашних танцоров, – накрывшись шальями, одеялами, всем чем угодно, вплоть до пологов, они вырисовывались нелепыми и забавными китайскими тенями. Из-под разнообразных головных уборов: шелковых и пуховых шапочек, капоров, шляпок, фуражек с наушниками выглядывали опухшие со сна лица, выражавшие полную растерянность, – такие лица бывают у потерпевших кораблекрушение, выброшенных на необитаемый остров и настороженно вглядывающихся в даль: не мелькнет ли где парус.

Не видать, нет, не видать!

Впрочем, некоторые добросовестно старались различить гребни гор. С вышки доносились кудахтанье перуанского семейства, окружившего какого-то верзилу в клетчатом ульстере до пят, а верзила, не моргнув глазом, описывал невидимую панораму Бернских Альп, указывая и называя вслух повитые туманом горы:

– Налево вы видите Финстерааргорн, высота – четыре тысячи двести семьдесят пять метров... Вон там Шрекгорн, Веттергорн, Монах, Юнгфрау – обратите внимание, сударыни, какие у нее изящные очертания...



«Бывают же такие нахалы!.. – сказал себе Тартарен и, подумав немного, добавил: – А ведь голос-то у него все-таки знакомый!»

Особенно было ему знакомо произношение этого человека, то южное *прррризниэние*, которое, как запах чеснока, распознается на расстоянии. Однако, занятый мыслью разыскать юную незнакомку, он не стал задерживаться и продолжал тщетно вглядываться в группы туристов. Должно быть, она, по примеру прочих, вернулась в отель, – всем в конце концов надоело дрогнуть тут и для согревания притопывать ногами.

Сгорбленные спины, прикрытые шотландскими пледами, бахрома от которых волочилась по снегу, постепенно удалялись, исчезали в сгущавшемся тумане. Скоро на всем холодном, пустынном плоскогорье, которое облегал серый саван, не осталось никого, кроме Тартарена и игрока на альпийском роге, продолжавшего уныло дуть в свой огромный инструмент, точно пес, лающий на луну.

Этот бородастый старикашка носил тирольскую шляпу с зелеными кистями, свисавшими ему на спину, – на шляпе, как на фуражках у служащих отеля, золотыми буквами было

написано: «*Regina montium*». Тартарен подошел и сунул ему мелочь, – он видел, что так делали другие туристы.

– Пойдем-ка спать, старина, – сказал он и, с тарасконской развязностью похлопав его по плечу, добавил: – А уж и врут про солнечный восход на Риги! *Чтэ?*

Старик продолжал дуть в рог, выводя состоявшую из трех нот ритурнель и смеясь беззвучным смехом, от которого у него стягивались морщины у глаз и тряслись зеленые кисти.

Тартарен все же не жалел ни о чем. Встреча с хорошенькой блондинкой вознаградила его за прерванный сон, ибо, хотя ему и шел пятый десяток, он, однако, сохранил сердечный жар и романтическое воображение – этот пылающий очаг жизни. Когда он, поднявшись к себе в номер, лег и закрыл глаза, ему все еще казалось, будто в руке у него крошечная невеста, а в ушах звучал прерывистый голосок девушки: «Это вы, Манилов?»

Соня... Какое красивое имя!.. Конечно, она – русская, а молодые люди, путешествующие вместе с ней, – разумеется, друзья ее брата... Потом все смешалось, прелестная золотая головка слилась с другими расплывчатыми сонными грезами – со склонами Риги, с водопадами в султанах брызг и пены. И вскоре героический храп великого человека, звучный и ритмичный, наполнил его номерок и добрую часть коридора.

После первого звонка к завтраку Тартарен, прежде чем сойти вниз, пожелал удостовериться, тщательно ли расчесана у него борода и ладно ли сидит на нем альпинистский костюм, но тут его бросило в дрожь. Приклеенное двумя облатками к зеркалу незапечатанное анонимное письмо заключало в себе недвусмысленную угрозу:

«Чертов француз! Тебе не укрыться под маской. На сей раз мы тебя пощадили, но если ты еще когда-нибудь попадешься нам на узкой дорожке, то берегись!»

Тартарен был огорошен; он несколько раз перечел письмо, но так ничего и не понял. Кого беречься? Чего беречься? Как это письмо сюда попало? Конечно, когда он спал, – ведь по возвращении с заревой прогулки он его не заметил. На его звонок явилась горничная с широким, плоским, бледным, изрытым оспой лицом, похожим на швейцарский сыр, но он ничего не мог от нее добиться, кроме того, что она «шестная девушка» и никогда не позволит себе без зова войти к мужчине.



– Что за притча! – повторял крайне взволнованный Тартарен, так и этак вертя в руках письмо.

В первую минуту он заподозрил Костекальда: узнав о его намерении совершить восхождение и решив сорвать ему этот замысел, Костекальд строит каверзы, запугивает его. Однако по зрелом размышлении это показалось ему неправдоподобным, и в конце концов он остановился на том, что письмо написано в шутку... Может быть, это юные мисс, которые так весело хохочут прямо ему в лицо... Молоденькие англичанки и американки так бесцеремонны!

Прозвонил второй звонок. Тартарен спрятал анонимное письмо в карман: «Там разберемся!...» Свирепое выражение, которое он придал в эту минуту своему лицу, должно было свидетельствовать о его бесстрашии.

За столом – опять неожиданность. Вместо хорошенькой соседки, которую «чистым золотом осыпала Любовь», он увидел ястребиную шею старой англичанки, букли которой

сметали крошки со скатерти. Кто-то из сидевших поблизости сообщил, что девушка и ее спутники уехали с утренним поездом.

– Дьявольщина! Меня провели!.. – громко воскликнул итальянский тенор, тот самый, который накануне заявил Тартарену, что не понимает по-французски. Очевидно, за ночь он выучился! Тенор вскочил, швырнул салфетку и убежал, совершенно ошеломя тарасконца.

Из вчерашних гостей за табльдотом оставался теперь один Тартарен. Так всегда бывает в «Риги-Кульм»: тут редко кто задерживается более суток. Зато обстановка не меняется – шеренги соусников неизменно делят общество на два враждебных лагеря. Сегодня утром численное превосходство было явно на стороне рисолюбивого воинства, усиленного несколькими знатными особами, и черносливцы держались, как говорится, тише воды ниже травы.

Тартарен не примкнул ни к тем, ни к другим, и, чтобы избежать широковещательных заявлений, он еще до десерта поднялся к себе в номер, собрал вещи и спросил счет – *Regina montium* с ее табльдотом глухонемых ему опостылела.

Стоило Тартарену прикоснуться к ледорубу, крючьям и веревкам, стоило ему облачиться во все свои доспехи, и его вновь охватила альпинистская страсть, он сгорал от нетерпения «взять» настоящую гору, где нет ни фуникулеров, ни фотографов. Он лишь колебался между Финстерааргорном, как более высокой горой, и Юнгфрау, как горой более знаменитой, красивое название которой своей девственной белизной напоминало ему девушку из России.

Взвешивая все «за» и «против», он в ожидании счета рассматривал в громадном, мрачном и безлюдном зале развешанные по стенам большие раскрашенные фотографии ледников, покрытых снегом горных склонов и славящихся своею опасностью горных проходов. Вот альпинисты тащатся, как муравьи, один за другим, по острому краю синей ледяной глыбы, вон там громадная расселина с серо-зелеными краями, – через нее перекинут мостик, по которому ползет на коленях дама, а за ней, приподняв сутану, аббат.

Тарасконский альпинист так и впился обеими руками в свой ледоруб. Ведь он понятия не имел о том, с какими это сопряжено трудностями. А теперь уже поздно!..

Вдруг он стал бледен как полотно.

Прямо перед ним в черной раме висела гравюра с известного рисунка Густава Доре, запечатлевшего катастрофу на горе Сервен: четыре человека сорвались с почти отвесного ледяного склона и, кто ничком, кто навзничь, катятся, раскинув руки и силясь что-нибудь нащупать, за что-нибудь ухватиться, уцепиться за порванную веревку, на которой только что держалось ожерелье из человеческих жизней и которая теперь стремительно влечет навстречу смерти, увлекает в пропасть груды тел вместе с ледорубами, зелеными вуалями, со всеми пожитками, еще так недавно радовавшими людей и вдруг оказавшимися для них гибельными.

– Вот тебе раз! – невольно вырвалось у перепуганного Тартарена.

Это восклицание слышал метрдотель, а так как он был человек весьма учтивый, то и счел своим долгом успокоить тарасконца. Оказалось, что подобные происшествия случаются все реже и реже. Конечно, осторожность необходима; главное, нужно подыскать хорошего проводника.

Тартарен спросил, нельзя ли указать ему кого-нибудь понадежнее... Бояться-то он не боится, но взять себе в спутники верного человека все-таки не мешает.

Метрдотель призадумался и с важным видом начал крутить бакенбарды.

– Надежного?.. Эх, жаль, вы раньше не сказали! Утром был тут у нас такой человек, вполне подходящий, – посыльный одного перуанского семейства...

– А горы-то он знает? – с видом многоопытного альпиниста спросил Тартарен.

– Он все горы знает: и швейцарские, и савойские, и тирольские, и индусские, все на свете, он все их излазил, знает как свои пять пальцев, про любую из них вам расскажет... Это просто находка!.. Я думаю, он с удовольствием согласится... С таким человеком малого ребенка куда угодно пустить не страшно.

– А где он? Где мне его найти?

– В Кальтбаде, сударь, – он там снимает помещение для своих путешественников... Мы ему позвоним по телефону.

Телефон на Риги!

Этого только не хватало! Но Тартарен ничему уже не удивлялся.

Через пять минут метрдотель сообщил ему ответ.

Посыльный перуанцев уехал в Телльсплатте и, по всей вероятности, там заночует.

Телльсплатте – это часовня, воздвигнутая в память Вильгельма Телля, одна из многих швейцарских святынь. Туда стекались толпы путешественников – ради фресок, которые тогда заканчивал известный базельский художник.

Пароходом туда можно добраться за час, самое большее – за полтора. Тартарен тотчас же принял решение. Правда, на это уйдет целый день, но зато он почтит память Вильгельма Телля, одного из любимых своих героев, а кроме того, какая это будет удача, если он разыщет такого чудесного проводника и уговорит его отправиться вместе на Юнгфрау!

А ну, скорее в путь!..

Он поспешил уплатить по счету, в котором и заход и восход солнца значились в особой графе рядом со свечой и с прислугой, и, сопровождаемый ужасающим лязгом железа, сеявшим страх и трепет на его пути, двинулся к вокзалу, ибо тратить время на спуск пешком – это для такой ненастоящей горы, как Риги, право же, слишком много чести!

IV

**На пароходе. Идет дождь. Тарасконский
герой приветствует тени героев умерших.
Правда о Вильгельме Телле. Разочарование.
Тартарен из Тараскона никогда не
существовал. «Эге! Да это Бомпар!»**

Снег он оставил на Риги, а внизу, на озере, снова попал под дождь – мелкий, частый, неразличимый, нечто вроде пара, в котором едва заметно проступали очертания дальних ступенчатых гор, похожих на облака.

Дул фен и завивал барашками озеро, чайки летали так низко, словно их несла волна. Казалось, пароход вышел в открытое море.



И вспомнился Тартарену его отъезд из Марселя пятнадцать лет тому назад, когда он вздумал охотиться на львов, безоблачное, слепящее, раскаленное добела небо, синее море, но какое синее: цвета синьки, подернутое рябью оттого, что дул мистраль, и усеянное блестками, сверкавшими, точно крупинки соли, горны, заливавшиеся в фортах, звон во все колокола, восторг, ликование, солнце, феерия первого путешествия!

А теперь все совсем другое: почерневшая от сырости почти безлюдная палуба, на ней сквозь туман, как сквозь промасленную бумагу, виднеются редкие фигуры пассажиров в ульстерах и в плащах, а за ними — закутавшийся в дождевик рулевой, стоящий неподвижно, с торжественным и зловещим видом, под объявлением на трех языках:

ОБРАЩАТЬСЯ К РУЛЕВОМУ С РАЗГОВОРАМИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ

Объявление повесили зря, так как на «Винкельриде» никто ни с кем не разговаривал: ни на палубе, ни в салонах первого и второго классов, до отказа набитых угрюмыми пассажирами, спавшими, читавшими, зевавшими среди ручного багажа, разложенного на скамейках. Так, по всей вероятности, выглядит партия ссыльных, которых на другой же день после государственного переворота отправляют в изгнание.

Время от времени хриплый рев парохода возвещал близость пристани. На палубе шаркали ноги, скрипели перетаскиваемые чемоданы. Из тумана выплывал берег и медленно приближался, открывая взору темно-зеленые склоны гор, виллы, зябко прятавшиеся в мокрый кустарник, грязные, обсаженные тополями дороги, тянувшиеся вдоль дорог роскошные отели, названия которых золотыми буквами были обозначены на вывесках, – «Отель Мейера», «Отель Мюллера», «Озерный», – и в их заплаканных окнах скучающие лица туристов.

Пароход пришвартовывался, люди сходили, всходили, все одинаково забрызганные грязью, мокрые, молчаливые. На набережной – мелькание зонтов и быстро отходивших омнибусов. Затем по воде начинали бить колеса, вспенивая ее своими плечами, берег отступал назад и растворялся в тумане вместе с отелями Мейера, Мюллера и «Озерным», а во всех этажах отелей, в распахивавшихся на секунду окнах появлялись трепетавшие платки и протянутые руки, как бы говорившие: «Смилуйтесь, сжальтесь, возьмите нас с собой!.. Если б вы знали!..»

Изредка «Винкельрид» встречался с другим каким-нибудь пароходом, название которого обозначалось черными буквами на белом кожухе – «Германия», «Вильгельм Телль»: такая же мрачная палуба, такие же отливавшие зеркальным блеском плащи, столь же невеселая прогулка – независимо от того, в каком направлении двигались пароходы-призраки, и при встрече пассажиры смотрели друг на друга тоскливыми глазами.

И подумать только, что все эти люди путешествовали ради собственного удовольствия и что ради собственного удовольствия очутились в плену пансионеры отелей Мейера, Мюллера и «Озерного»!

И здесь, как и в «Риги-Кульм», особенно угнетала, мучила, сковывала Тартарена – сильнее, чем холодный дождь и пасмурное небо, – невозможность поговорить. Правда, внизу он увидел знакомые лица: члена Джокей-клуба с племянницей (гм! гм!), академика Астье-Рею и профессора Шванталера, двух непримиримых врагов, обреченных целый месяц жить бок о бок, прикованных Компанией Кука к одному и тому же круговому маршруту, и еще кое-кого, но никто из этих прославленных черносливцев не желал узнавать тарасконца, чей шлем, железные доспехи и веревка, перекинутая через плечо, делали, однако, его фигуру весьма заметной и совершенно своеобразной. Все они точно стыдились вчерашнего бала, той необъяснимой веселости, которую их заразил этот пылкий толстяк.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.